

ГРАНЬ ВОЙНЫ



Светлана Терская

Грань войны

<https://litres.ru/74390513>

SelfPub; 2026

Аннотация

Простой парень, степной кочевник по имени Болат, по стечению обстоятельств утрачивает способность забывать чтолибо. И тут начинается его путь длиной в десятки жизней. Однажды, сделав неосторожный выбор, он застревает в войне на восемь веков. Обычный юноша, мечтавший о подвигах. Теперь он — вечный солдат: каждое перерождение возвращает его на поле боя, в новую эпоху, к новому врагу. Десятки жизней, тысячи сражений — и каждый раз всё повторяется: приказ, атака, кровь, смерть — и снова пробуждение в новом теле. Сумеет ли он выбраться из воронки перерождений? Найдёт ли лазейку в самой ткани судьбы? Его оружие теперь — не меч, а память. Его союзники — те, кого он успел полюбить и потерять. И его главная битва — не снаружи, а внутри.

Светлана Терская

Грань войны

Грань войны.

Часть 1. Болат

Глава 1. Шаманка

Приблизительно XII век нашей эры. Территория современной Тывы.

На многие километры вокруг раскинулась бескрайняя степь. Она казалась не просто пустой, а будто намеренно вычищенной и непригодной для жизни человека: ни холма, ни дерева, ни даже одинокого валуна, за который мог бы зацепиться взгляд. Но, несмотря на эту враждебность и пустоту, люди здесь жили испокон веков. Вот и сейчас редкие юрты, сбившиеся кучкой, стояли, словно ненадолго заглянули в эти места, — и красноречивее всего рассказывали о терпении и выносливости жившего в них народа.

И ещё одна юрта — чуть в стороне от поселения, обособленная, словно сама по себе. Так и полагалось: шаманке не пристало быть в гуще людских забот. Словно она проживала эту жизнь на стыке двух миров: мира природы с его законами, энергиями и духами и мира людей с их чаяниями, надеждами и прочей суетой.

Ветер гулял по степи свободно и равнодушно, поднимая лёгкую пыль, которая оседала на войлоке юрт и на одежде тех, кто решался идти к Чуле. В этот день, почти на закате, к этой одинокой юрте и пришла Айна. В её шаге чувствовалась не спешка, а упрямая решимость: она шла навстречу со своим страхом, потому что иного пути не оставалось. Тревога давно поселилась в её груди и теперь эта тревога стала такой большой, что уже не помещалась внутри.

Айна остановилась у входа, на мгновение задержав дыхание, будто прислушиваясь к тишине, которая здесь звучала иначе, чем в родной юрте. Потом решительно откинула полог и шагнула внутрь, словно перейдя в другую реальность.

— Здравствуй, Чула, — сказала Айна, стараясь, чтобы голос звучал твёрдо, а не дрожал от усталости и страха.

— Здравствуй, Айна, — отозвалась шаманка, не поднимая глаз сразу, будто давая гостю время привыкнуть к полумраку и запахам дыма. Потом подняла взгляд. — Ты снова ко мне?

— Да, это снова я. Нет моему сердцу покоя. Теперь и старший сын стал терять память. Как и муж, он с трудом находит дорогу домой, стал забывать, как меня зовут. В прошлый раз ты говорила, что этот дух, ну, который вызывает забвение, может и не тронуть моих сыновей. Но теперь я вижу, что и младшего сына ждёт та же участь. Ты говорила, что можно защитить их, но это опасно. Тогда я боялась... А теперь уже нет.

Чула помолчала, будто взвешивая каждое слово, прежде чем его произнести. Она встала неторопливо, без лишней суеты, и взяла в руки короткую нитку мелких костяных бус. Пальцы её были твёрдыми, но движения — мягкими, почти бережными, как будто она не хотела потревожить невидимые нити, связывающие мир людей и мир духов.

— Я не смогу обещать тебе, Айна, что всё получится, — сказала шаманка негромко. — Я буду взывать к духу, который намного сильнее того, что прицепился к твоему мужу и сыновьям. Но я не уверена, что он согласится встать на защиту твоей семьи. Не уверена также, что он сам не нанесёт им вреда. Память, знаешь ли, такое дело: иногда некоторые вещи нужно забывать, чтобы жить дальше. Тот дух, к которому я стану взывать, не позволит твоему сыну забывать. Кроме того, я могу пытаться помочь только твоему младшему сыну, потому что он ещё может помнить сам. Власть над его памятью пока принадлежит ему. Поэтому подумай хорошенько ещё раз. Если ты согласна, тогда возьми эти бусы и надень на младшего сына. А на полной луне приводи его ко мне.

Айна слушала, не перебивая. Неожиданно страх снова накрыл её, и всё в груди будто сжалось. Она думала, что уже приняла решение, но теперь неожиданно поняла, что принимает его только сейчас. И она не позволяла себе торопиться с ответом: слишком многое стояло на кону. Она смотрела на костяные бусины, на тонкие нити, на руки шаманки и пыталась понять, как всё это изменит её жизнь и жизнь её сына.

Наконец решение было принято, и она кивнула.

— Я согласна, — сказала она тихо, но твёрдо. — Если есть хоть малейший шанс, я должна его использовать.

Спустя неделю, когда на улице уже почти стемнело и огромный жёлтый диск луны горел над шаманской юртой, словно нарочно выставляя себя напоказ, луна освещала дорогу ко входу так ярко, что тень от юрты казалась особенно густой и глубокой. Казалось, что свет луны не просто освещает путь, а затягивает внутрь, и развернуться назад, уйти казалось невыносимым, невозможным. И сын, и мать — оба это чувствовали, но теперь в них не было ни страха, ни желания повернуть.

Подойдя ко входу в юрту, Айна крепко обняла сына.

— Болат, сынок, не бойся ничего. Я знаю, всё будет хорошо, — сказала она, прижимая его к себе на мгновение дольше, чем обычно, будто хотела передать ему часть своей решимости.

— Мне не страшно, мама. Я точно знаю, что духи к нам благосклонны, — ответил он спокойно, чуть наклонив голову, как делал всегда, когда хотел показать, что понял и принял решение. В этом жесте было что-то взрослое, не по годам собранное: Болат не был из тех, кто ищет утешения в бесконечных вопросах и уточнениях, и не из тех, кто долго гадает, какое решение принять. Он предпочитал простые решения и принимал происходящее как оно есть. А все решения будто были им уже приняты заранее, и он считал эту черту своей

маленькой силы.

Слегка наклонив голову, он вошёл в юрту, и в лицо ему тут же ударил влажный жар. В юрте было жарко и влажно, и всё было пропитано дымом от тлеющей полыни — густым, горьковатым, обволакивающим, будто сам воздух здесь был другим, более плотным. Болат на секунду замер, привыкая к этому новому ощущению, и огляделся.

Чула сидела напротив входа. Её длинные иссиня-чёрные волосы были распущены и закрывали почти всё тело, словно тёмный плащ, сотканный из самой ночи. В руках она держала большой барабан из телячьей кожи, мелко расписанный цветастыми узорами. Ритм, который она выводила, был ровным, неторопливым, но в нём чувствовалась сила, способная заполнить собой всё пространство. Шаманка не пела словами, а подпевала в ритм, издавая низкие, тягучие звуки, в которых слышалось и дыхание степи, и шёпот ветра, и далёкий крик ночной птицы.

Болат заглянул ей в чёрные немигающие глаза и растерянно огляделся вокруг, пытаясь найти хоть одну привычную деталь, за которую можно было бы зацепиться. Но здесь не было ничего привычного: даже огонь в центре юрты горел как-то иначе — не просто давал свет, а будто жил своей отдельной жизнью.

Шаманка спокойно проговорила:

— Садись напротив и ничего не бойся. Духи сегодня благосклонны.

Юноша уселся на пол напротив женщины и теперь видел её сквозь пламя костра, горящего посреди юрты. Огонь дрожал, искажал черты, делал их то резкими, то расплывчатыми, и от этого казалось, что Чула одновременно и здесь, и где-то ещё, за пределами обычного мира.

Чула продолжала бить в барабан — монотонно и ровно, слегка ускоряя темп. Её пение, или, точнее, напевное мычание, действовало на Болата успокаивающе, и вскоре он полностью расслабился. Его даже потянуло в сон.

Но ритм барабана стал ускоряться, а пение шаманки — становиться громче. Глаза её были теперь закрыты, вокруг лица плясали языки пламени, отбрасывая причудливые тени. Она поднялась на ноги и стала двигаться вокруг огня в танце. Её длинные одежды словно плясали вместе с ней и отдельно от неё, чёрные волосы развевались вокруг, то напоминая извивающихся змей, то тёмную накидку с капюшоном, то становясь тёмным облаком, то накрывающим тело шаманки, то рассеивающимся от света огня.

Болат наблюдал за происходящим словно из другого мира, без страха и с полным ощущением, что он никогда не соприкоснётся с миром, где творится это безумное действо. Он был в полной уверенности, что к нему это словно бы и не имеет отношения. В его рассудительности сейчас проявилась та самая черта, которую Айна замечала и раньше: в моменты, когда другие начинали метаться, Болат словно отходил на шаг назад и смотрел на всё со стороны, будто пытался

понять механизм происходящего. И только разобравшись и подстроившись под ход вещей, начинал действовать.

И тут пение и звук барабана резко оборвались — так резко, что Болат как будто проснулся от внезапного шума. Он уставился в лицо женщины. Она открыла глаза, и тело юноши бросило в ледяной пот: её глаза стали голубыми, словно небо в ясный день. От ужаса его словно парализовало — он не мог пошевелить ни рукой, ни хотя бы пальцем.

Женщина — или бог знает кто в её обликии — стала приближаться к нему медленными, тяжёлыми шагами. Чула легко взмахнула рукой, и бусы — те самые, что мать неделю назад принесла от шаманки и надела на сына, — рассыпались по всему полу. Болат вздрогнул от неожиданности и осознания того, что всё это время у неё в руках был нож, которым она и срезала нитку бус с невероятной лёгкостью и точностью.

И тут в глазах у него потемнело, и он отключился.

Когда юноша пришёл в себя, Чула сидела рядом и смотрела своими обычными чёрными глазами. Голос её снова был знакомым, мелодичным. В юрте было тихо, душно и дымно, но как-то уютно и безопасно — будто ничего страшного и не происходило.

— Ничего, это часто бывает, не волнуйся. Всё прошло хорошо. Дух, что напугал тебя, взял тебя под защиту, мальчик, — проговорила она. — Так что всё хорошо. Полежи, не вставай резко. Попей.

Она протянула ему глиняную чашу с горьковатым отваром. Болат сделал несколько глотков, чувствуя, как тепло разливается по телу, а туман в голове понемногу рассеивается. Ему и правда стало лучше. Он смог подняться на ноги, немного покачнувшись, но быстро восстановил равновесие.

— Спасибо, — тихо сказал он, глядя на шаманку чуть дольше, чем нужно, будто хотел запомнить каждую черту её лица, чтобы потом возможно узнать её однажды спустя многие годы среди сотен других людей.

Поблагодарив женщину, он вышел на улицу. На улице уже начало светать. Первые лучи солнца скользили по степи, делая её менее равнодушной и более живой.

«Ого, — подумал Болат, — вот это я проспал. Мать, наверное, волнуется». И он ускорил шаг, торопясь домой, но в груди у него оставалось странное чувство: не страх, не облегчение, а скорее осознание того, что мир оказался чуть больше и сложнее, чем он думал раньше. Но он даже не представлял, насколько больше и сложнее.

глава 2. Выбор.

Жизнь Болата текла своим чередом. Через пару лет он и думать забыл о походе к шаманке. Мать нарадоваться не могла на сына, и страхи их почти растворились в спокойном течении времени. Но однажды ход их жизни должен был измениться раз и навсегда.

В один жаркий день, когда солнце ещё не поднялось высоко, но уже жгло по-летнему, выбеливая серые войлоки юрт и выгоняя людей из полутьмы на свет, в поселении кочевников-кыштымов пахло дымом, конским потом и свежим навозом — обычный утренний запах, который сегодня казался Болату каким-то слишком резким, будто степь тревожилась.

Он стоял у своей юрты и чинил упряжь, когда заметил пыль на горизонте — тонкую, но густую, как дым от большого костра. Она тянулась лентой, и в ней угадывались всадники. Болат замер, пальцы сами разжали ремень.

— Бег идёт, — тихо сказал старик у соседней юрты, не поднимая глаз от плетёной корзины. — С отрядом.

И правда, это был не случайный разъезд. Это была власть: десяток всадников, впереди — сам бег в стёганом кафтане, с железным нагрудником поверх и с луком, рукоять которого была украшена костяными накладками.

Поселенцы стягивались к центру стоянки не толпой, а как-то осторожно, будто боялись спугнуть тишину. Старейшины вышли вперёд, держась прямо, но Болат видел, как у одного из них подрагивают пальцы.

Бег не спешил слезать с коня. Он оглядел юрты, лица, будто пересчитывал не людей, а ресурсы. Потом кивнул одному из воинов — тот громко и чётко произнёс:

— Кыргызский бег требует дань. Война с монголами требует людей. Нам нужно десять воинов. Сегодня.

По рядам прошёл тихий, сдавленный звук — не крик, а

выдох, общий, как будто все разом задержали дыхание и потом выпустили его.

Старейшина шагнул вперёд. Голос его звучал ровно, но в нём слышалась усталость:

— У нас мало мужчин. Кто останется пасти скот? Кто защитит женщин и детей, если придут волки?

Бег чуть наклонил голову, словно прислушивался не к словам, а к тому, что за ними:

— Мне не нужны оправдания. Мне нужны воины. Если не дадите — заберём силой. И тогда за каждого, кто попытается бежать, возьмём двух.

Тишина стала тяжёлой, как мокрый войлок. Болат почувствовал, как внутри всё сжалось — не от страха, а от того, как быстро рушилась привычная жизнь.

Рядом с ним стояли двое — его лучшие друзья. Кайыр, вечно смеющийся, у которого даже в серьёзном взгляде проскакивала озорная искра. И Токтон, молчаливый, крепкий, будто выросший из самой степи, с руками, привыкшими к тяжёлой работе и к оружию.

Кайыр шагнул чуть вперёд — не к бегу, а просто так, будто ему стало тесно и скучно в этой тишине:

— Я пойду, — сказал он громко, и голос его прозвучал звонко, почти весело. — Хочу увидеть, как бьются настоящие воины. Хочу понять, что это такое — когда земля дрожит от тысячи копыт.

Токтон не смотрел на него. Он смотрел на старейшину,

потом на бега, и произнёс тихо, но так, что услышали все:

— И я пойду. Мой отец говорил: если беда идёт к твоему дому, не жди, пока она постучит. Выходи ей навстречу.

Болат хотел было сказать «нет», удержать их, но слова застряли в горле. Он видел, как горят глаза Кайыра — не от страха, а от предвкушения. Видел, как Токтон сжимает кулаки, будто уже держит поводья перед атакой. Они шли не потому, что хотели умереть. Они шли, чтобы почувствовать себя живыми.

А потом Болат вдруг понял: если они уйдут, а он останется, это будет выглядеть как трусость. Но хуже было другое: он знал, что если не он, то возьмут кого-то другого. Возьмут отца троих детей или юношу, который только-только научился держать лук. И тогда вина ляжет на Болата, даже если он не скажет ни слова.

Раньше он всегда с лёгкостью принимал любые решения. Он просто про себя, не вслух, спрашивал у духов, или судьбы, или самой природы, как ему следует поступить. И его судьба всегда давала ему ответ — тоже где-то внутри, про себя, иногда даже подавая знаки в виде пролетающего беркута или резкого порыва ветра. И он никогда не спорил со своей судьбой, пытаясь жить в гармонии со всем вокруг. Но в этот раз он резко почувствовал, что духи словно отступили на шаг, давая ему возможность сделать выбор самостоятельно, словно проверяя, кто он такой на самом деле.

Болат напрягся: он понимал, что выбор надо принимать

быстро. Он на секунду зажмурил глаза — сильно, как только мог. А когда снова открыл их, то шагнул вперёд. Не так решительно, как Кайыр, не так спокойно, как Токтон. Его шаг был тяжёлым, будто земля не хотела его отпускать. И это немного удивило его: почему она против? Ведь ещё мгновение назад ей, и духам, и судьбе было всё равно на него. Ему ведь дали самому сделать этот выбор. И он его сделал. Разве мог он выбрать неверно?

— Я тоже пойду, — сказал Болат. Голос прозвучал хрипло, и он прокашлялся, чтобы скрыть это. — Если нужны воины — я с ними.

Старейшина посмотрел на него долго, будто пытался прочесть, что у него внутри. Потом кивнул — не одобрительно, а скорее с пониманием.

— Ты хороший парень, Болат, — тихо произнёс он. — Но помни: не всякая слава стоит того, чтобы за неё платить жизнью.

Болат удивился такому напутствию: он вроде бы никогда и не мечтал о славе. Но вдруг мысль о возвращении домой в статусе воина, прошедшего путь смелости и силы, оказалась ему приятна. «Может, я чего-то и сам о себе не знаю, — подумал он. — Может, военная слава — это и есть мой путь».

Бег наконец спешился. Он подошёл к трем молодым мужчинам, посмотрел на них, как смотрят на лошадей перед дальним походом, — оценивающе, без злобы, просто по делу.

Потом он наугад выбрал ещё семерых мужчин покрепче и объявил:

— Соберите вещи. Через час выступаем. И пусть ваши родные попрощаются с вами, потому что не все вернутся.

Кайыр улыбнулся, будто это была самая весёлая новость за год:

— Зато мы увидим мир!

Токтон ничего не сказал. Он только кивнул и пошёл к своей юрте — быстро, деловито, как будто торопился успеть сделать всё, что должен.

Болат остался стоять. К нему подошла мать. Она не стала плакать, не стала кричать. Просто молча обняла его, крепко, до хруста в рёбрах, и прошептала:

— Если сумеешь — береги себя.

Он кивнул, не доверяя голосу.

Когда он подошёл к друзьям, Кайыр уже привязывал к седлу свёрток с вещами, а Токтон проверял тетиву лука.

— Ну что, — сказал Кайыр, подмигнув, — теперь мы настоящие воины!

Болат не смог улыбнуться. Он посмотрел на родные юрты, на дым, поднимающийся в прозрачное небо, на степь, которая всегда была для него домом. И подумал: «Может быть, я больше никогда этого не увижу. Но таков мой выбор». Это была уверенность, рождённая скорее упрямством, чем способностью осознавать происходящее.

— Да, — тихо ответил он. — Теперь мы воины.

Они сели на коней. Бег дал знак, и отряд тронулся. За ними потянулись трое добровольцев и семеро случайно попавших сюда их земляков, и пыль, поднятая копытами, накрыла поселение, словно прощание.

Первые три дня шли без привалов длиннее, чем на час. Бег не хотел задерживаться: монгольские разъезды могли оказаться где угодно, а стоянка из полусотни всадников — слишком заметная мишень. Болат быстро понял, что «увидеть мир» — это не про красивые виды. Это про то, как ноют плечи, как ветер забивается под кафтан и выстужает тело до костей, как каждый глоток воды становится событием, а еда — просто тем, что даёт силы держаться в седле.

Кайыр поначалу всё ещё шутил. На второй день, когда солнце раскалило небо до белёсого, он снял шапку и помахал ею, будто приветствуя степь:

— Вот это жизнь! Не то что сидеть у очага и слушать, как овцы блеют!

Токтон только хмыкнул и плотнее поправил повязку на шее — от солнца и пыли. Он вообще говорил мало, но делал всё молча и точно: проверял подпругу, следил, чтобы у коня не сбился шаг, прикидывал, сколько осталось воды.

Болат молчал. Ему было стыдно за то, что он не может радоваться так же, как Кайыр. Но каждый раз, когда он смотрел по сторонам, его не отпускало чувство, что они уезжают не навстречу приключениям, а от чего-то очень важного. От дома.

На третью ночь они встали в узкой долине между пологими холмами. Ветер здесь был тише, а камни прикрывали от взгляда с возвышенностей. Пока другие разводили костры и доставали вяленое мясо, бег прошёл вдоль строя, проверяя часовых. Его голос звучал ровно, без злости, но от этого становилось только страшнее:

— Если монголы найдут нас здесь, мы не успеем даже сесть на коней. Пусть двое не спят. Пусть смотрят в темноту. Там, где тихо, часто бывает самое опасное.

Когда он ушёл, Кайыр подсел к костру, вытянул ноги и вздохнул — не радостно, а как-то глубоко, будто только сейчас почувствовал, насколько устал:

— А знаешь, Болат... Я думал, будет веселее. Думал, будем скакать, как вихрь, и враги будут падать, едва увидев нас. Болат усмехнулся краем рта:

— Ты просто не думал, что война — это в первую очередь холод, голод и долгий путь.

— И страх, — тихо добавил Токтон, глядя в огонь. — Страх тоже часть пути. Главное — чтобы он не стал хозяином.

Они помолчали. Пламя трещало, искры уносило в чёрное небо. И тут из темноты донёсся голос часового:

— Эй! Кто там? Стой!

Все замерли. Даже кони перестали хрустеть сухой травой. Бег мгновенно оказался рядом, не крича, не суетясь — просто встал так, чтобы видеть и часового, и то, что шевелилось

за кромкой света.

— Кто идёт? — повторил часовой, голос у него дрогнул, но он не опустил копье.

Из темноты выступил силуэт — один всадник, без строя, без отряда. Он не торопился, ехал медленно, будто давая понять, что не собирается нападать. Но рядом с ним, чуть позади, угадывались ещё тени. Много теней.

Бег шагнул вперёд, но не к незнакомцу — туда, откуда тянуло опасностью.

— Стой, — сказал он тихо, но так, что услышали все. — Не стрелять. Сначала слушаем.

Всадник остановился в нескольких шагах от света костра. Он был в простой одежде кочевника, без дорогих украшений, но держался так, будто знал, что здесь решают не мечи, а слова.

— Я из дозора найманов, — спокойно произнёс он. — Видели ваш след. Вы идёте к перевалу?

Бег не ответил сразу. Он смотрел на всадника, потом — туда, в темноту, где прятались остальные.

— Мы идём туда, куда должны, — наконец сказал он. — И не ищем ссоры.

Найман чуть наклонил голову:

— Ссоры не будет. Но знайте: монголы уже прошли по этим землям. Они ищут отряды, которые собираются против них. Если вы думаете, что успеете собраться и ударить, — вы опоздали. Они уже здесь. Они везде.

Токтон тихо выругался сквозь зубы. Кайыр побледнел, будто вдруг понял, что шутки кончились. Болат почувствовал, как холод, который он списывал на ветер, на самом деле шёл изнутри.

— Зачем ты говоришь нам это? — спросил бег.

— Потому что я видел, как умирают хорошие воины, — просто ответил найман. — И потому что сегодня мы не враги. Но завтра может быть иначе.

Он развернул коня и поехал прочь, растворяясь в темноте. Тени за ним тоже исчезли, будто их и не было.

Тишина вернулась, но теперь она была другой — тяжёлой, наполненной страхом. Бег долго смотрел в ту сторону, куда уехал найман, потом повернулся к своим:

— Костры погасить. Часовых удвоить. Мы не будем ночевать здесь.

Кайыр хотел было что-то сказать, но Токтон положил ему руку на плечо:

— Не сейчас.

И Болат вдруг понял, что впервые за эти дни чувствует не вину и не тоску, а что-то другое — ответственность. Он посмотрел на друзей: Кайыр всё ещё был похож на мальчишку, которому страшно, но он старается не показать этого. Токтон — на человека, который знает, что впереди будет тяжело, и готовится к этому.

— Мы справимся, — тихо сказал Болат, скорее себе, чем им. — Мы должны.

Токтон кивнул. А Кайыр, хоть и не улыбнулся, но расправил плечи:

— Да. Мы справимся.

Костры зашипели, когда на них плеснули водой. Тьма стала плотной, почти осязаемой. И в этой тьме Болат услышал то, чего раньше не замечал, — тихий, ровный гул степи. Не ветер. Не крики птиц. А будто сама земля шептала: «Ты уже не тот, кто уезжал из дома. И назад ты вернёшься другим — если вообще вернёшься».

На рассвете пятого дня они увидели дым.

Не тонкий, домашний — из юрты или костра. Густой, чёрный, поднимающийся плотным столбом, будто кто-то жёг не дрова, а всё, что могло гореть. Кони наострили уши. Бег остановил отряд, подняв руку, и все застыли на месте.

— Впереди — поселение, — сказал один из разведчиков, вернувшись быстро; на его лице читалось что-то, чему он не мог найти слова. — Там... там никого нет. Только тела.

Бег приказал двигаться осторожно, по гряде холмов, не высываясь. Но Болат и так уже всё почувствовал: запах донёсся раньше, чем они увидели. Сладковатый, тяжёлый, тошнотворный запах, от которого Кайыр свернулся набок и едва не упал с коня.

— Не смотри, — бросил Токтон, но сам смотрел.

Поселение было маленькое — пять-шесть юрт, загон для скота, колодец. Теперь это был пепел. Юрты лежали чёрными тряпками на земле, их каркасы торчали, как рёбра. Загон

был разломан. Скот угнали. А люди...

Болат считал тела и не мог остановиться. Женщина у потухшего очага, скорчившаяся, будто пыталась свернуться в себя, стать меньше, незаметнее. Старик — лицом вниз в траве. Двое детей (или то, что от них осталось) — у разорванного войлока, который раньше был стеной юрты. Мухи. Тишина, в которой не было ни плача, ни голосов, — только жужжание мух.

Болат стоял и не мог пошевелиться. Внутри что-то сломалось — не от страха, а от непонимания. Он смотрел на мёртвую женщину и не мог связать её с тем, что знал о войне. Он думал: война — это когда воин бьётся с воином. Когда есть враг и есть ты, а между вами — оружие и сила. Но здесь не было врага. Здесь были просто люди, которых убили, потому что они были.

— Зачем? — спросил он, и голос его прозвучал глухо, будто шёл не из горла, а из какого-то места глубже. — Зачем их?

Бег не ответил. Он только осмотрел следы: присел на корточки, провёл пальцами по земле.

— Монголы, — сказал он коротко. — Отряд человек в тридцать. Прошли ночью, ушли на восток. Это не армия. Это дозор.

— Дозор? — Кайыр вдруг подал голос, и в нём не было ни весёлости, ни храбрости — только срывающийся, тонкий звук. — Дозор делает это? С детьми?

— Дозор делает так, чтобы все знали, — ответил бег, не

поднимаясь с корточек. — Чтобы следующий посёлок увидел и испугался. Чтобы не было сопротивления. Страх — это оружие. Иногда оно острее сабли.

Болат смотрел на тела, и у него не было слов. Дома, в посёлке, когда бег пришёл за данью, он думал, что понимает, на что идёт. Он думал, что война — это значит: сядешь на коня, возьмёшь лук, поедешь навстречу врагу и будешь биться за свой народ. Он думал, что будет героем. Что его будут помнить. Что будет о чём рассказать детям — если вернётся.

Но сейчас, глядя на мёртвую женщину у очага, он вдруг понял: он не понимает ничего. Не знает, что это за война. Не знает, кто такие монголы на самом деле — не из рассказов, а живую. Не знает, что будет с ним через день, через неделю. Не знает, вернётся ли он. И самое страшное — не знает, вернётся ли он тем же человеком.

— Хватит стоять, — сказал бег. — Хоронить не будем: нет времени. Нужно уйти отсюда. Если их дозор прошёл здесь, значит, основной отряд где-то рядом.

— Уйти? — Болат повернулся к нему. — Мы просто уйдём? Их же...

— Если мы останемся и нас найдут, — бег посмотрел на него в первый раз прямо, — то нас тоже не будут хоронить. Уходим.

Они ушли. Но запах остался. Болат чувствовал его весь день — сладковатый, тяжёлый, вьёвшийся в ноздри, в волосы, в кожу. Кайыр ехал молча, опустив голову. Токтон —

стиснув зубы так, что желваки ходили на скулах.

А через два часа, когда солнце стояло высоко и степь казалась пустой и безжизненной, Токтон вдруг остановил коня и сказал одно слово:

— Слышите?

Болат прислушался. Сначала — ничего. Только ветер. Потом — далёкий, едва различимый гул. Не гром. Не река. Гул, который шёл от земли, и в нём, если вслушаться, угадывался ритм: топот. Много копыт. Очень много.

Бег тоже услышал. Он повернулся к отряду, и лицо его было не испуганным — просто собранным, как у человека, который давно ждал этого момента и теперь пытался выиграть ещё несколько секунд.

— Перевал. Быстро. Тихо. Не оглядываться.

Отряд рванул — не рысью, а галопом, но приглушённым, стараясь не поднимать пыли. Болат скакал, вцепившись в гриву коня, и чувствовал, как гул нарастает, заполняет собой всё: уши, грудь, голову. Это был не звук. Это было присутствие. Как будто сама степь пришла в движение и катилась за ними волной.

На перевале бег остановил отряд и бросил всех в укрытие — за камни, в тень. Сам остался наверху, лёжа на животе, глядя вниз.

Болат подполз к нему, не думая — тело двигалось само. И увидел.

Степь внизу была живой. Не травой, не ветром — людьми.

Они шли нестройно, но единым потоком, как река, которая не торопится, потому что знает, что никуда не денется. Конница, пешие, повозки с вооружением и сеном. Знамёна на длинных древках покачивались, как трава под ветром. И этот поток тянулся слева направо, до горизонта, и Болат не мог увидеть, где он заканчивается.

— Сколько их? — прошептал он.

Бег не ответил. Он считал, шевеля губами, потом перестал — понял, что бесполезно.

— Тумен, — наконец сказал он. — Может, больше. Это не дозор. Это армия.

Болат лежал на камне и смотрел, как армия Чингисхана проходит по степи. И тут, в этот момент, пришло осознание — не мысль, не вывод, а что-то, что продавило его, как давит земля того, кто лежит под ней.

Он не понимал, куда пришёл.

Дома ему казалось, что он идёт защищать свой народ. Что он — воин. Что есть враг и есть он, а между ними — честный бой. Но то, что ползло по степи внизу, не было врагом в привычном смысле. Это была стихия. Как зима. Как засуха. Как наводнение, которое приходит и забирает всё — не потому что злое, а потому что оно больше тебя. Намного больше.

И его поселение, его юрты, его мать, его друзья — всё это существовало только потому, что стихия пока не дошла до них. Но она дойдёт. Она уже дошла — до того поселения с чёрными юртами и мёртвой женщиной у очага. Она дойдёт

и до них.

— Мы не сможем их остановить, — сказал Болат, и голос его был ровным, потому что в нём не осталось ни страха, ни храбрости. Только ясность. — Нас полсотни. Их — тысячи.

— Я знаю, — ответил бег. — Но мы и не должны их остановить. Мы должны дойти до кыргызского войска и присоединиться. То, что ты видишь, — это ещё не всё. Кыргызы тоже собирают людей.

— Но если не хватит?

Бег посмотрел на него. В первый раз за все дни в его лице мелькнуло что-то человеческое — не усталость, не власть, а просто усталость от того, что он тоже не знает.

— Тогда мы сделаем, что сможем. И будем помнить, что делали это не потому, что сильны. А потому что иначе — нельзя.

Они лежали на камнях и смотрели, как проходит армия. Кайыр — бледный, с глазами, в которых не осталось ни искры, ни веселья. Токтон — с окаменевшим лицом, будто он превратился в один из тех камней, за которыми прятался. И Болат — с ясным, холодным пониманием того, что он влез во что-то, чего не понимает. Что все его представления о чести, о подвиге, о защите — это были слова. Красивые, нужные слова. Но здесь, на этом камне, глядя на тысячу копыт, поднимающих пыль в степи, слова были бесполезны.

Он запомнил это чувство. Не страх. Не боль. А именно это — осознание собственной малости перед чем-то необъ-

ятным. Как будто он стоял под огромным куполом звёздного неба, и небо мельком скользнуло по нему взглядом, и он вдруг понял: оно даже не заметило его.

Когда армия прошла и гул стих, бег дал сигнал спускаться. Они ехали медленно, тихо, прижимаясь к теневой стороне холмов. Никто не разговаривал. Кайыр ехал, опустив голову, и Болат видел, как у него подрагивают плечи — не от холода, а от чего-то другого. Может, он плакал. Может, просто дрожал. Болат не стал смотреть.

Токтон поравнялся с ним и сказал тихо, не поворачивая головы:

— Теперь ты понимаешь.

— Да, — ответил Болат. — Понимаю. Только не знаю что.

— Не все понимают, — Токтон чуть помолчал. — Некоторые так и остаются с тем, что было в голове, когда садились на коня. Думают, что они герои. А героев нет. Есть просто люди, которые делают то, что должны.

Болат кивнул. Ветер нёс пыль и запахи степи: полынь, сухую траву, конский пот. Но ему казалось, что где-то под ними, глубже, всё ещё тянется тот сладковатый запах сгоревшего поселения. Будто война оставляет свой запах не только на земле, но и на людях. И не смывается.

Он ехал и думал о том, что скажет шаманке, когда (если) всё закончится. Что он видел. Что понял. Что влез в то, во что не понимал, и теперь уже не может вернуться назад, потому что то, что он увидел, останется с ним навсегда.

А ещё вспомнил, пусть и не вовремя, как однажды шаманка объясняла, как понять, что пришла настоящая беда: «Ты не увидишь ни одного животного, ни птицы, ни зверя, Болат. Все они уходят заранее, зачуяв беду. Человек так не умеет чувствовать, но он может смотреть на животных и уйти вместе с ними туда, куда идут они, влекомые инстинктом и духами. Иногда нужно просто уйти, потому что есть в этом мире такое зло, которое невозможно победить человеку. Но человек может выбрать не вступать с ним в бой».

И тут он снова вспомнил о своём выборе. И о том, как он не слышал ни голоса природы, ни голосов духов, ни голоса собственной судьбы, когда выбирал. И ему стало не по себе.

Это случилось на семнадцатый день.

Кыргызское войско стояло в широкой долине, где река делала изгиб, прижимая левый фланг к воде. Болат насчитал около трёхсот всадников и пешее ополчение — крестьян с копьями, охотников с луками, стариков, которым место было у очага, а не в строю. Бег привёл их к этому месту и передал командующему — кыргызскому джагыну, дородному мужчине со шрамом через всю щёку, который смотрел на прибывших так, будто считал не людей, а стрелы.

— Хорошо, — сказал джагын, оглядывая пополнение. — У нас мало лучников. Встанете в третий ряд. Ваша задача — бить по всадникам. Лошадь без всадника — это не воин, это мясо.

Болат стоял в строю и чувствовал, как земля передаёт виб-

рацию. Не от монголов — те были ещё далеко, за холмами. От своих. От коней, от топота сотен ног, от гула голосов, в котором не было ни песни, ни радости — только напряжённое ожидание того, что должно было вот-вот начаться.

Кайыр стоял рядом, и руки его уже не дрожали. После увиденного в ущелье он изменился — стал тише, собраннее, будто кто-то убрал из него всё лишнее. Он не шутил, не смеялся, но и не прятался. Он просто делал то, что должен: проверял тетиву, считал стрелы, точил нож. Токтон стоял по другую сторону, неподвижный, как каменный столб, и только глаза двигались — цепкие, внимательные.

— Идут, — сказал кто-то, и слово прошло по строю, как трещина по льду.

Они появились из-за холмов. Не сразу — сначала пыль, потом гул, потом первые ряды. Болат ждал, что увидит ту же бескрайнюю реку людей, что на перевале. Но здесь было иначе: монголы шли строем. Чётким, ровным, как строчки на барабане. Впереди — лёгкая конница, быстрая, рассыпная, за ней — тяжёлая, в железе и коже, а позади — пехота, которая не торопилась, потому что знала: её время придёт потом.

— Триста против тысячи, — прошептал кто-то рядом. И замолчал, потому что считать было бесполезно.

Джагын поднял руку. Строй замер. И когда монгольская конница пошла в атаку — не рысью, а медленным, тягучим шагом, наращивая скорость, как волна, которая только начи-

нает закручиваться перед тем, как обрушиться, — рука джагына упала.

И всё смешалось.

Болат стрелял. Он не думал — тело делало то, чему его научили ещё дома: натянуть, прицелиться, отпустить. Натянуть, прицелиться, отпустить. Стрелы уходили одна за другой, и он не видел, куда попадают, — только чувствовал, как лук бьёт в плечо, как тетива режет пальцы, как колотится сердце.

Первый ряд монгольской конницы рассыпался: кони падали, всадники летели из сёдел. Но за ними шёл второй, а за вторым — третий. И они не останавливались. Не замедлялись. Они просто шли поверх своих павших, как вода поверх камней.

А потом они ударили в строй.

Болат увидел, как джагын упал — не от стрелы, а от копья, которое пробило ему грудь насквозь. Видел, как пехота дрогнула, как кто-то побежал, как кто-то упал и не встал. И тогда он бросил лук, выхватил палаш и шагнул вперёд — не потому что хотел, а потому что назад было уже некуда.

Первого монгола он убил, не увидев его лица. Всадник проскакал мимо, и Болат ударил снизу, в живот, — коротко, зло, как учил Токтон. Всадник сложился пополам и упал. Болат не успел подумать об этом — второй уже был рядом.

Он бил. Бил и бил. Палаш стал тяжёлым, будто налился кровью, но рука не останавливалась. Он закрывался щитом,

уходил от ударов, наносил свои — и каждый раз чувствовал, как лезвие входит в тело, как чужая жизнь уходит сквозь железо, сквозь кожу, сквозь кости.

Третий. Четвёртый. Пятый.

Он не считал. Он просто двигался, как машина, как механизм, у которого одна задача — убивать. Где-то рядом орал Кайыр — не от страха, а от ярости, от боли, от всего, что накопилось в нём с того дня в ущелье. Токтон дрался молча, только дышал тяжело, через зубы, и каждый его удар был точным, как удар молота.

И вдруг в гуще боя Болат увидел лицо. Настоящее, живое лицо — молодое, без бороды, с испуганными глазами. Мальчишка. Он был моложе Болату лет на пять. Он замахнулся саблей, но медлил: руки дрожали, он не хотел бить, он тоже боялся.

Болат не успел остановиться. Палаш вошёл мальчишке в шею. Кровь брызнула горячей струёй, попала Болату на лицо, на руки, на грудь. Мальчишка открыл рот, будто хотел что-то сказать, и упал.

И в этот момент что-то сломалось.

Бой не остановился: вокруг кричали, рубили, умирали. Но для Болату всё замедлилось, будто он провалился в воду. Звуки стали глухими, движения — медленными, тягучими. И он стоял посреди боя с окровавленным палашом и смотрел на мёртвого мальчишку у своих ног.

Лицо. У этого мальчишки было лицо. Не шлем, не доспех,

не враг. Лицо. С веснушками на носу. С тонкой полоской усов, которые только-только начали пробиваться. С выражением, которое было не злостью и не ненавистью, а просто испугом. Чистым, детским испугом.

И тут Болат накрыло.

Он вспомнил поселение. Чёрные юрты. Женщину у очага, скорчившуюся, будто она пыталась стать меньше. Детей у разорванного войлока. Мух. Тишину, в которой не было ни плача, ни голосов.

Вот так же, наверное, лежала и та женщина. С лицом. С веснушками или без. С испугом в глазах, который погас, потому что его некому было увидеть.

И вот тот, кто её убил, — может, вот такой же мальчишка. С такими же дрожащими руками. С таким же непониманием. И вот этот мальчишка теперь лежит у ног Болат, и Болат — тот, кто его убил, — стоит и смотрит, и понимает, что разницы между ним и тем, кто убил женщину на стоянке, нет.

Он стал им.

Он стал тем, кого он не понимал и ненавидел. Тем, от кого хотел защитить. Тем, кто берёт жизнь, потому что может, потому что ему сказали, потому что так надо.

Болат опустил палаш. Рука разжалась, и оружие упало в траву, в грязь, в кровь.

Вокруг бой ещё шёл, но он не видел его. Он видел только лица. Не одно — все. Те, кого убил сегодня. Те, кого мог

убить и не убил, но кто всё равно умер — от чужой стрелы, от чужого копья. И все они были с лицами. С глазами. С губами, которые что-то шептали в последний миг.

И он не мог их вернуть. Ни одного. Не мог вложить обратно жизнь, которую вынул. Не мог сказать «стой» так, чтобы время послушалось. Он не давал жизнь. Он не создавал её, не растил, не оберегал — он только отбирал. И если ты не умеешь давать жизнь, какое право ты имеешь отбирать её?

— Болат! — крикнул Токтон, и голос его прорвался сквозь вату. — Болат, подними меч! Они снова идут!

Он не пошевелился. Токтон подбежал, схватил его за плечо, потрянул:

— Ты что?! Они идут! Поднимай меч, слышишь?!

Болат повернулся к нему. Лицо у него было мокрым — не от пота, не от крови. Токтон впервые видел у него такое выражение: не страх, не усталость, не боль. Что-то хуже. Ясность. Холодная, страшная ясность человека, который только что увидел себя настоящего.

— Я не хочу, — сказал Болат. Голос был тихий, ровный, без слёз и без крика. — Не хочу больше.

— Не хочешь — что?!

— Убивать.

Токтон смотрел на него, и в глазах у него была не злость, не презрение — понимание. Он тоже это видел. Он тоже это чувствовал. Но он знал, что если сейчас бросить меч, то умрёшь. А мёртвый никого не защитит.

— Тогда живи, — сказал Токтон. — Но меч подними. Не ради них. Ради тех, кто ждёт тебя дома.

Болат посмотрел на свой палаш, лежащий в грязи. На кровь. На мёртвого мальчишку с веснушками. Потом — на Токтона. И поднял меч. Не потому что хотел. А потому что должен был дожить. Дожить, чтобы когда-нибудь перестать.

Бой закончился к закату. Монголы отступили — не разбитые, а просто ушли, как уходят волки, когда добыча стоит слишком дорого. Кыргызское войско осталось в поле, и поле это было усеяно телами — своими и чужими, вперемешку, будто смерть не различала.

Болат сидел на камне и не мог встать. Руки его были чёрными от крови — чужой и своей, потому что его тоже задел, по ребру, неглубоко, но он даже не чувствовал. Кайыр лежал рядом, на спине, глядя в небо, и молчал. Токтон перевязывал руку — молча, стиснув зубы.

Бег подошёл, сел рядом. Лицо его было серым от усталости.

— Ты хорошо бился сегодня, — сказал он. — Джагын погиб. Полководец левого крыла погиб. А ты стоял. Многие побежали. Ты — нет.

Болат посмотрел на него.

— Я убил много людей, — сказал он. — Я хорошо бился. И именно поэтому я не хочу быть воином.

Бег долго молчал. Потом произнёс, глядя в сторону, туда, где садилось солнце и небо было красным, как будто тоже

было залито кровью:

— Я знаю. Каждый, кто по-настоящему бился, знает. Те, кто не знает, — либо не были в бою, либо уже не люди.

— А вы? — спросил Болат. — Вы тоже... не хотите?

Бег усмехнулся. Горько, криво.

— Я хочу одного: чтобы мои дети не знали, как пахнет кровь. Но для этого я должен биться. И мне нужно, чтобы рядом были такие, как ты. Не герои. Не убийцы. А люди, которые умеют и не хотят. Потому что только они знают цену тому, что делают.

Болат кивнул. Но внутри, в том месте, где раньше были мечты о подвигах и приключениях, теперь была пустота. Не дыра — именно пустота. Чистая, холодная, как степь зимой. И в этой пустоте жило одно знание: он влез в то, чего не понимал. Влез по глупости, по молодости, по жажде чего-то большего, чем кочевая жизнь. Просто жизнь, неспешно бегущая, как река, или тихо растущая, как дерево. А оказалось, что «большее» — это кровь. Чужая и своя. И это «большее» нельзя ни забыть, ни отменить, ни вернуть назад.

Он посмотрел на свои руки. Руки, которые сегодня убивали. Руки, которые когда-то чинили упряжь, гладили коня, держали материнские ладони. Те же руки. Но теперь они знали, как отнять жизнь. И это знание останется с ними навсегда — сколько бы раз он их ни мыл.

Тогда, на стоянке с чёрными юртами, он подумал: «Я не понимаю, куда пришёл». Тогда это было правдой. Сейчас —

нет. Теперь он понимал. И понимание было хуже непонимания. Потому что теперь он знал точно: он не хочет здесь оставаться. Не хочет быть частью этого. Не хочет быть хорошим воином, потому что хороший воин — это плохой человек. Человек, который умеет убивать и не может остановиться. Человек, который берёт то, что не давал. Жизнь.

Но выйти нельзя. Война не отпускает. Она держит тебя, как болото: чем больше дёргаешься, тем глубже увязаешь. И Болат понял, что единственный выход — не бежать, а пройти. Пройти до конца. До того места, где война закончится и он сможет снова стать человеком. Если сможет.

Он закрыл глаза. И в темноте за веками увидел лицо мальчишки с веснушками. Открытый рот. Испуганные глаза. И тишину, которая наступила после.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.